

## Проблемы научного издания и комментирования текстов «поэзии из народа» XIX—XX вв.

«Поэзия из народа», как и низовая литература<sup>1</sup> второй по-

---

<sup>1</sup> Разграничение массовой, низовой, народной, лубочной, наивной и т. п. литературы не входит в задачу данной статьи; этой проблеме, далеко выходящей за рамки творчества писателей-самоучек рубежа XIX–XX вв., я планирую посвятить в будущем отдельное исследование. В этой статье понятия «литература самоучек», «низовая литература» и «литература из народа» будут употребляться условно-синонимично, охватывая некое не вполне дифференцированное поле, противопоставляющееся канонической и массовой литературе.

Зачастую массовая литература выделяется на основании двойного противопоставления: «вершинная письменная литература» vs. «массовая письменная литература» vs. «фольклор» [Лотман 2005б]. Срединному члену этой тернарной оппозиции Ю.М. Лотман посвятил отдельную статью, в которой определил его следующим образом: «Массовая литература должна обладать двумя взаимно противоречащими признаками. Во-первых, она должна представлять более распространенную в количественном отношении часть литературы. <...> Однако, во-вторых, в этом же обществе должны действовать и быть активными нормы и представления, с точки зрения которых эта литература не только оценивалась бы чрезвычайно низко, но она как бы и не существовала вовсе. Она будет расцениваться как “плохая”, “грубая”, “устаревшая” или по какому-нибудь другому признаку исключенная, отверженная, апокрифическая» [Лотман 2005а: 819]. Однако в этом случае к массовой литературе относятся самые разнородные явления — от беллетристики до лубка; очевидно, нужна дальнейшая дифференциация этого поля неканонической словесности.

Здесь я во многом опираюсь на чуть более дробную типологизацию, предложенную Данилой Давыдовым в его кандидатской диссертации: «высокая» литература (каноническая в данном обществе в данную эпоху) vs. массовая литература vs. наивная словесность (как часть «третьей культуры», не равной ни профессиональной литературе, ни фольклору). Мой объект, соответственно, в его схеме в общем и целом относится к наивной словесности (путь и с оговорками):

ловины XIX — начала XX вв. в целом, представляет интерес с социологической точки зрения — как та культурная периферия, в которую переходили и которой абсорбировались наработки из других пластов литературы. К ней же, в свою очередь, представители этих других пластов обращались за новым (свежим или необычным) материалом. При этом если взаимоотношения между ней и литературой народного направления исследованы достаточно подробно, то влияние творчества А. Н. Апухтина, С. Я. Надсона, А. К. Толстого, К. М. Фананова и др. изучено уже гораздо слабее, практически не затронуты

---

«Массовая литература, по сути дела, — параллельное “высокой” литературе образование; авторы массовой литературы являются профессионалами; они относятся к массовой литературе как к иерархически организованному пространству.

Субполе наива по сути дела не является литературой (т. к. не подразумевает разного рода взаимосвязей), хотя и относится к полю литературы; в рамках наивной словесности (и смежных явлений) невозможна внутренняя иерархия или декларация отсутствия таковой, отсутствует процесс <...>

При всем том наивное произведение — произведение принципиально авторское, и тем самым не относится к т. н. “письменному фольклору”; даже в случае анонимности наивного текста, он остается уникальным и не воспроизводимым в фольклорном каноне (что, конечно же, не мешает фольклоризации отдельных образцов наивной словесности; однако в результате статус наивного текста принципиально меняется)» [Давыдов 2004: 6–7].

Впрочем, в случае по крайней мере с самоучками рубежа XIX–XX вв. утверждение, что в их творчестве отсутствуют ценностная иерархия и процессуальность, представляется небесспорным (хотя хорошо работает на других группах, которые можно отнести к категории наива). Впрочем, это (несколько радикальное) утверждение и сам Давыдов далее смягчает: «наивная словесность» — это «особое, дискретное по своей структуре субполе литературы (искусства, культуры), занятое агентами, идентифицирующими себя в качестве авторов, но не участвующими в маневрах профессиональных элит, находящимися вне или “на обочине” литературного (культурного) процесса, не связанными взаимными иерархическими и т. п. отношениями, лишенными общей идеологии, в т. ч. эстетической, на объединенными в качестве производителей текстов общими чертами <...>» [Давыдов 2004: 8].

ее интертекстуальные связи с символизмом (в первую очередь с произведениями В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, З. Н. Гиппиус).<sup>2</sup>

В советское время за редкими исключениями (А. В. Кольцов, отчасти И. С. Никитин и И. З. Суриков) поэзия из народа изучалась лишь с одной заранее заданной точки зрения (хотя, разумеется, тоже по-своему весьма социологизированной) — как рабоче-крестьянская поэзия, знаменующая собой ту или иную стадию подготовки и развития социалистической революции в России. Надо сказать, что среди поэтов-самоучек и в самом деле было сравнительно много людей, близких к народникам и эсерам, а после революции 1905 г. часть из них вступила в РСДРП (как в большевистское, так и в меньшевистское крыло), и идеология этих партий отразилась на тематике большого числа их стихотворений 1900–1910 х гг. Однако в советской историографии проблемы революции, как правило, настолько увлекали взявшихся за низовую литературу исследователей, что до проблем текстологии разговор доходил редко. В качестве примера можно сослаться на сборник «И. З. Суриков и поэты-суриковцы», выпущенный в Большой серии «Библиотеки поэта» [Суриков 1966]: здесь около половины общего объема занимают тексты 11 суриковцев двух поколений, при этом в разделе «Другие редакции и варианты» составитель Е. С. Калмановский рассматривает стихи только С. А. Григорьева и С. Д. Дрожжина, отведя на них три страницы (на самого Сурикова — девять); в разделе «Примечания» тексты Сурико-

---

<sup>2</sup> В социологии литературы уже относительно давно известен феномен, когда лубочная (а фактически и любая низовая) словесность, генетически и типологически близкая скорее к фольклору, чем к элитарной литературе, воспринимает, однако, фольклорные традиции сквозь фильтр «высокой культуры». Ср. в книге А.И. Рейтблата, впервые вышедшей в 1992 г.: «Самая тесная связь существовала у него (лубка. — Н. П.) с литературой высокой, откуда главным образом и “спускались” те или иные книги. Зарубежная литература и фольклор обычно “подключались” к лубку через “высокую” литературу, хотя в отдельных случаях те или иные произведения непосредственно попадали оттуда в лубок» [Рейтблат 2009: 149; ср. также: Рейтблат 2009: 156].

ва также откомментированы гораздо подробнее, чем тексты всех его последователей, вместе взятых.

В связи с этим мне представляется уместным сформулировать несколько наиболее очевидных проблем и вопросов, которые могут встать перед будущим издателем народной поэзии этого периода. В качестве конкретного материала я буду обращаться к поэтам-суриковцам младшего поколения, т. е. 1900–1910-х гг., когда были официально организованы Московский товарищеский кружок писателей из народа (1902–1905) и Суриковский литературно-музыкальный кружок (1905–1921; неофициально существовал до 1933). Члены этих организаций были наиболее активно вовлечены в политику и, как следствие, наиболее сильно подпали под воздействие идеологии позднейших комментаторов.

Оговорюсь, что мои заметки не претендуют ни на полноту, ни на системность.

Прежде всего встает вопрос, какая подборка текстов поэтов-самоучек может считаться репрезентативной. Все издать невозможно, да и не имеет смысла — с точки зрения не только эстетической (подавляющее число текстов писателей из народа имеет весьма низкую художественную ценность), но и прагматической: тогда бы пришлось продублировать заново весь объем низовой поэтической продукции за несколько десятков лет, что заняло бы много томов. Если подходить к народной поэзии с указанных ранее социологических и компаративистских позиций, то достаточно сделать выборку необходимого объема; однако где границы этой выборки, даже приблизительные, — не очень ясно. Например, в другой статье мне уже приходилось описывать, как поэт-суриковец С. Брусков (С. С. Степанов), работавший препаратором в химической лаборатории, описывал в стихах свои опыты, а в поисках подходящего поэтического языка обращался к творчеству В. Я. Брюсова [Поселягин 2011]; в то же время без установления этих интертекстуальных отсылок существование таких стихотворений выглядело бы лишь случайным

анекдотом, необходимость издания которого представлялась бы дискуссионной.

Другой пример касается жанров низовой литературы<sup>3</sup>. Известно, что многие суриковцы занимались литературной поденщиной, помимо поэтических и прозаических сборников выпуская журналы и альманахи юмористического, политико-сатирического и патристического (во время Первой мировой войны) толка, «страшные» рассказы, авантюрные романы, произведения для детей и т. п. Особенно это характерно для суриковцев-журналистов: скажем, в библиографиях И. А. Белоусова, П. А. Травина, Ф. С. Шкулева насчитываются десятки наименований такого рода продукции. При этом сами писатели-самоучки, похоже, не относились к подобному виду деятельности всерьез: Травин открыто признавал, что занимается лубочными изданиями исключительно ради заработка, Шкулев использовал более сотни различных псевдонимов (типа «Злой сатир», «Дядя Фиша», «Кузнец Вакула», «Черт» и т. п.), в то время как те свои произведения, которые считал настоящей литературой, старался по возможности подписывать настоящим именем или хотя бы инициалами (включая тексты политической направленности). Казалось бы, здесь никакой проблемы нет: достаточно отсеять всю чисто-лубочную продукцию от остальных изданий, тем более что сами поэты из народа эти два вида публикаций никогда не смешивали под одной обложкой. Однако это противоречило бы принципу репрезентативности издания. Во-первых, в лубочном стиле после 1905 г. выходили не только сатирические, но и сатирико-политические альманахи, которые в глазах цензуры и судебных палат ничем не отличались от «серьезной» политической лирики поэтов-самоучек; остается вопросом, имеет ли смысл их переиздавать, и если да, то как (возможно, что факсимиль-

---

<sup>3</sup> Хотя несколько упрощает дело тот факт, что подавляющее количество жанров, к которым обращались литераторы-самоучки, представляют собой формулы в смысле Дж. Г. Кавелти, т. е. комбинации повествовательных штампов, сюжетных клише и культурных стереотипов; см.: Кавелти 1996.

но — из-за особенностей графического оформления). Во-вторых, многие издания такого рода активно использовали стилизации под фольклорные жанры, например, раешный стих или имитации народных драм, причем периодически тексты в этой стилистике перерастали формат альманаха и превращались в отдельные издания.

В качестве примера такого рода случая можно упомянуть две поэмы того же Шкулева — написанную во время Первой мировой войны «Вильгельм в аду» и созданную после Февральской революции «Николай в аду»; об отношении к ним самого автора можно судить уже по тому, что обе они изданы под псевдонимом «Злой сатир». Вместе с тем эти и подобные лубочные издания могут оказаться значимыми, если обнаружится, что они в ряду других фольклорных и псевдофольклорных текстов служили тем материалом, к которому нередко обращались деятели Серебряного века. По всей видимости, в каждом индивидуальном случае вопрос подобного обнаружения (или необнаружения) должен решаться отдельно.

Сюда же относится и проблема разграничения литературы из народа и низовой городской литературы. Выше оговаривалось, что в данной статье оба понятия по умолчанию приравниваются (см. сноску 1), хотя на самом деле это серьезное упрощение: в реальности эти явления пересекаются друг с другом лишь отчасти.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Схожей проблемой — хотя и не относящейся напрямую к эдиционным практикам — является проблема биографии создателей неканонической словесности. Ср. рассуждения Б. В. Дубина (он, как и Рейтблат, говорит о лубочных писателях, но, по сути, имеет в виду любых авторов, не относящихся к элитарной литературе или беллетристике): «<...> связанная и осмысленная биография лубочного писателя возникает лишь на этапе (и в качестве) его ролевого определения культуртрегером или исследователем как “писателя из народа”, “автора-самоучки” и т. п. тарификациях, чуждых собственному языку данного типа литераторов (фактически к этим квазифеноменальным характеристикам относится и сам эпитет “лубочный”). <...> Биография лубочного литератора является проблемой исследователя-литературоведа, а не самого автора, поскольку выступает проекцией значимых для первого и заблокированных для второго ценностей субъективного самоопределения, задающих в том числе и такое видение литературы, в которое иные формы и способы

Если обратиться к текстологической стороне изданий поэтов из народа, то здесь тоже остается много для меня неясного. В первую очередь это касается авторской воли и установления основного текста. Правда, данная задача облегчается тем, что лишь некоторые из поэтов из народа переиздавали свои произведения по несколько раз с вариантами — Дрожжин, Шкулев, Леонов и некоторые другие; большинство же ограничивалось единичными публикациями, причем стихи в коллективных сборниках и в индивидуальных изданиях, как правило, не дублировались. С другой стороны, далеко не во всех случаях сохранились автографы.

Мне также представляется существенной еще одна, смежная проблема. Известно, что вплоть до третьей четверти XIX в. не было единой стандартизированной системы орфографии и пунктуации. Также известно, что большинство поэтов-самоучек были малограмотными, и хотя зачастую они издавали сами себя — т. е. друг друга, но в качестве редакторов выступали те, кто лучше владел нормами русской грамматики (Белоусов, Леонов, Травин). Во многих случаях степень их редакторского вмешательства установить непросто (далеко не все тексты поэтов из народа сохранились в автографах, а в переписке редакторские вопросы затрагиваются крайне редко, корректорские — никогда). Вместе с тем в тех случаях, когда есть возможность обратиться к автографу (или когда тот или иной автор издал отдельный сборник в своей собственной редакции), по всей видимости, в каждом конкретном случае вопрос, что перед нами — орфографическая или пунктуационная ошибка или же значимое (для автора или для нас) явление, — должен решаться особо. Для нас это может быть значимо, в частности, при изучении эволюции русской грамматики — тем более что большинство самоучек имели хотя бы минимальное образование, а как следствие, по возможности пытались воспроизводить грамматические нормы (или то, что они

---

существования словесных образно-символических построений в их автономности («без перевода») не попадают» [Дубин 2001: 122–123].

понимали под нормами) иногда даже тщательнее, чем их более образованные коллеги по поэтическому цеху.

Кроме того, сохранение авторской орфографии и особенно пунктуации в определенных случаях может иметь значение для исследования поэтического синтаксиса, который, в свою очередь, может оказаться маркером (хотя и вспомогательным) траектории литературных заимствований и влияний. Моя гипотеза здесь заключается в том, что, поскольку поэты-самоучки много занимались самообразованием, то, изучая их синтаксис и пунктуацию, можно прийти к выводу, на какие группы текстов опирались (и, следовательно, какие литературные течения абсорбировали) те или иные представители литературы из народа. Правда, для этого необходимо иметь на руках фронтальное исследование синтаксиса и пунктуации не-низовой литературы XIX — начала XX вв. — задача масштабная, но не необъятная (и, во всяком случае, меньшая по объему, чем исследование поэтического синтаксиса литературы низкой). Задача эта важна потому, что во многих случаях это может оказаться единственным свидетельством, помимо интуитивной оценки, траектории литературных заимствований в народной среде той литературы, которая этой средой оценивалась как «высокая», каноническая. (Среди самих поэтов-самоучек мало кто признавался в своих литературных предпочтениях, хотя автобиография была одним из их излюбленных эпистолярных жанров; редкое исключение — уже упоминавшийся Брусков, который признавался, что наряду с Никитиным, Некрасовым, Кольцовым и Суриковым любит также Надсона и А. К. Толстого.)

В качестве примера возьму начало стихотворения Шкулева на революционную тематику, которое в советском литературоведении превратило своего автора в одного из классиков пролетарской поэзии. Заодно это будет иллюстрацией проблемы датировки и установления основного текста из имеющихся вариантов.



Осенью и зимой 1905 г. Шкулев участвовал в событиях первой русской революции: организовывал совместно с Леоновым издательство по выпуску агитационной литературы, во время Декабрьского восстания хранил тайник с оружием, в это же время писал стихи соответствующей тематики. Считается, что одним из них было стихотворение, известное либо под названием «Кузнецы», либо по первой строке — «Мы — кузнецы, и дух наш молод...». Было ли оно опубликовано тогда же, в одной из агитационных брошюр, — неясно; первая известная публикация была осуществлена только в 1912 г. в большевистской газете «Невская звезда», из-за чего его нередко этим годом и датируют. Дальнейшие переиздания, начиная с прижизненных, дают различные варианты того, как должна выглядеть первая строфа; наиболее распространенная версия такова:

Мы — кузнецы, и дух наш молод,  
Куюм мы счастья ключи,  
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи.

Этот вариант скорее может быть отнесен к рубрике «Коллективное», т. к. у Шкулева, как и у большинства поэтов-самоучек, разностопность может появляться только в стилизациях под фольклорные песни, а стихотворение «Мы кузнецы, и дух наш молод...» стало песней лишь в годы Гражданской войны. Оно было положено на музыку второй части марша Н. Ф. Острогского, написанного независимо от Шкулева<sup>5</sup>; стало популярным и, по-видимому, тогда же обрело новый вариант заглавия — «Кузнецы», под которым публиковалось в советское время, в том числе и при жизни автора.

Другой вариант, вероятно, более близкий к тексту оригинала, выглядит так:

---

<sup>5</sup> Такова наиболее распространенная версия истории бытования этого стихотворения; см.: Шацева 1968; Трегубов 1973: 14.

Мы кузнецы, и дух наш молод,  
Куем мы к счастью ключи!  
Вздымайся выше, тяжкий молот,  
В стальную грудь сильней стучи!

Здесь кроме варьирования «счастлиа ключи» / «к счастью ключи» наблюдается также иное пунктуационное оформление. В частности, неясным остается судьба тире между «мы» и «кузнецы»: восходит ли оно к первоначальному варианту 1905 г. (возможно, сохранившемуся где-то в архивах) или появляется позже, но с воли самого Шкулева. Если этот знак авторский, то можно вспомнить еще несколько стихотворений, в которых тире возникает в той же позиции в первой строке, например, «Мы — поздние певцы: мир, злой и обветшалый...» К. М. Фофанова (1891) или «Мы — чернецы, бредущие во мгле...» А. А. Блока (1902, опубликовано 1908); в подавляющем же большинстве схожих случаев после «мы» никакого пунктуационного знака не возникает.

Разумеется, сам по себе этот пример, взятый отдельно, ни о чем не говорит. Однако если после фронтального анализа синтаксиса возникнет достаточно большое количество примеров сходства поэзии Шкулева, допустим, с Фофановым (а, скажем, с Блоком значительно меньше), то мы получим достаточно репрезентативную подборку для формальных суждений о литературных влияниях и предпочтениях в среде низовой литературы. Для репрезентативности потребуется не менее 200–300 соответствующих примеров на каждый случай, и эта кропотливая работа — дело неблизкого будущего. Однако подобные рассуждения должны быть учтены при эдичионной подготовке изданий поэтов-самоучек (исключением могут быть лишь случаи явных описок, да и то с соответствующими оговорками). Иначе поставленные социологическая и компаративистская задачи могут оказаться выполненными лишь отчасти, а именно они, на мой взгляд, и могут легитимизировать критическое издание поэтов-самоучек, а следовательно, и разговор о нем.

## СОКРАЩЕНИЯ

Давыдов 2004 — *Давыдов Д. М.* Русская наивная и примитивистская поэзия: Генезис, эволюция, поэтика // Автореф. дис. кандидата филол. наук. Самара: СПГУ, 2004.

Дубин 2001 — *Дубин Б. В.* Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001.

Кавелти 1996 — *Кавелти Дж. Г.* Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33–64.

Лотман 2005а — *Лотман Ю. М.* Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 2005. С. 817–826.

Лотман 2005б — *Лотман Ю. М.* О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 2005. С. 774–788.

Поселягин 2011 — *Поселягин Н.* Крестьянский поэт Степан Брусков (С. С. Степанов) как «поэт-символист» (1900–1910-е годы) // Русская литература: тексты и контексты: Сборник научных работ молодых филологов // Redakcja Marta Łukaszewicz, Justyna Celmer, Joanna Piotrowska. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Вып. 1. С. 253–261.

Рейтблат 2009 — *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009.

Суриков 1966 — *И. З. Суриков и поэты-суриковцы* // Вступ. ст., биограф. справки, подгот. текста и примеч. Калмановского Е. С. М.; Л., 1966.

Трегубов 1973 — *Трегубов А.* Филипп Шкулев (1868–1930) // Шкулев Ф. Стихотворения // Сост. и предисл. Трегубова А. Л. М., 1973. С. 5–18.

Шацева 1968 — *Шацева Р.* К истории песни «Мы кузнецы» // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 252–253.